

Максим Горький

ИСПОВЕДЬ

RUGRAM

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Г71

Горький, М.

Г71 Исповедь / М. Горький. — М. : Т8 Издательские технологии / RUGRAM. — 248 с. — (RUGRAM-КЛАССИКА).

ISBN 978-5-519-72862-1

В нашем новом проекте вы найдете как книги из «золотого фонда» классической русской литературы, так и редкие, почти забытые, произведения авторов, оставшихся в тени своих великих современников. Эти книги не утратили самобытной актуальности, сегодня, как и сто лет назад, они определяют пути русской культуры, ищут ответы на «проклятые вопросы».

Без этих книг невозможно понять кто мы, кем мы были, куда движемся. Мы отобрали для вас самые важные тексты русских классиков, представили их в наиболее полных редакциях, без каких либо сокращений и цензурных изъятий, и составили серию RUGRAM-КЛАССИКА.

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
ВІС FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-519-72862-1

© Т8RUGRAM, оформление, 2021
© Т8 Издательские технологии, 2021

...Позвольте рассказать жизнь мою; времени повесть эта отнимет у вас немного, а знать её — надобно вам.

Я — крапивник, подкидыш, незаконный человек; кем рождён — неизвестно, а подброшен был в экономию господина Лосева, в селе Сокольем, Красноглинского уезда. Положила меня мать моя — или кто другой — в парк господский, на ступени часовенки, где схоронена была старая барыня Лосева, а найден я был Данилой Вяловым, садовником. Пришёл он рано утром в парк и видит: у двери часовни дитя шевелится, в тряпки завернуто, а вокруг кот дымчатый ходит.

У Данилы прожил я до четырёх лет, но он сам многодетный был, кормился я где попало, а когда пищи не найду, — попищу, попищу да голоден и засну.

Четырёх лет взял меня к себе дьячок Ларион, человек одинокий и чудесный; взял он меня для скуки своей. Был он небольшого роста, круглый, и лицо круглое; волосы рыжие, а голос тонкий, подобно женскому, и сердце имел тоже как бы женское — до всех ласковое. Любил вино пить и пил помногу; трезвый молчалив бывал, глаза

полузакрыты всегда, и вид имел человека виноватого пред всеми, а выпивши — громко ирмосы и тропари пел, голову держал прямо и всякому улыбался.

От людей в стороне стоял, жил бедно, надел свой попу отдал, а сам, зиму и лето, рыбу ловил да — забавы ради — птиц певчих, к чему и меня приучил. Любил он птиц, и они не боялись его; умилительно вспомнить, как, бывало, бегают поползень — птица очень дикая — по рыжей голове его и путается в огневых волосах. Или сядет на плечо и в рот ему заглядывает, наклоня умную голову свою. А то ляжет Ларион на лавку, насыплет конопки в голову и в бороду себе, и вот слетятся чижи, щеглята, синицы, снегири роются в волосах дьячка, по щекам лазят, уши клюют, на нос ему садятся, а он лежит и хохочет, жмуря глаза да ласково беседа с ними. Завидовал я ему в этом — меня птицы боялись.

Нежной души человек был Ларион, и все животные понимали это; про людей того не скажу — не в осуждение им, а потому, что, знаю, — человека лаской не накормишь.

Зимою трудно было ему: дров нет и купить не на что, деньги пропиты; в избёнке, как в погребке, холодно, только пичужки щебечут да поют, а мы с ним, лёжа на холодной печи, всем, чем можно, окутаемся и слушаем птичье пение... Ларион им подсвистывает — хорошо умел! — да и сам был похож на клеста: нос большой, крюком загнутый, и красная голова. А то, бывало, скажет мне:

— Вот, слушай, Мотька, — меня Матвеем окрестили, — слушай!

Ляжет на спину, руки под голову, зажмурит глаза и заведёт своим тонким голосом что-нибудь из литургии заупокойной. Птицы замолчат, прислушаются, да потом и сами вперебой петь начнут, а Ларион пуще их, а они ярятся, особенно чижи да щеглята или дрозды и скворцы. До того он допоётся, бывало, что сквозь веки из глаз у него слёзы текут, щёки ему мочат и, омытое слезами, станет серым лицо его.

От такого пения иной раз жутко становилось, и однажды я сказал ему тихонько:

— Что ты, дядя, всё про смерть поёшь?

Перестал он, поглядел на меня и говорит, смеясь:

— А ты не бойся, глупый! Это ничего, что смерть, зато — красиво! В богослужении самое красивое — заупокойная литургия: тут ласка человеку есть, жалость к нему. У нас, кроме покойников, никого не умеют жалеть!

Слова эти — хорошо помню, как и все его речи, но понимать их в ту пору я, конечно, не мог. Детское только перед старостью понятно, в самые мудрые годы человека.

Помню тоже — спросил я его: почему бог людям мало помогает?

— Не его это дело! — объяснил он мне. — Сам себе помогай, на то тебе разум дан! Бог — для того, чтобы умирать не страшно было, а как жить — это твоё дело!

Рано забыл я эти речи его, а вспомнил — поздно, и оттого много лишнего горя перенёс.

Замечательный был человек! Все люди, когда удят, не кричат, не разговаривают, чтобы не пугать, — Ларион поёт неумолчно, а то рассказывает мне жития разные или о боге говорит, и всегда к нему рыба шла. Птиц ловят тоже с осторожностью, а он всё время свистит, дразнит их, беседы с ними ведёт, и — ничего! — идёт птица и в чепки и в сеть. Опять же — насчёт пчёл — рои отсаживать или что другое, — старые пчеляки с молитвой это делают, и то не всяк раз удаётся им, позовут дьячка — он бьёт пчел, давит их, ругается матерно, — а всё сделает в лучшем виде. Не любил он пчёл: они у него дочь ослепили. Забралась на пчельник девочка — три года было ей, — а пчела её в глаз и чикнула; разболелся глазок да ослеп, за ним — другой, потом девочка померла от головной боли, а мать её сошла с ума...

Да, всё он делал не как люди, ко мне ласков был, словно мать родная; в селе меня не очень жаловали: жизнь — тесная, а я — всем чужой, лишний человек. Вдруг чей-нибудь кусок незаконно съем...

Приучил меня Ларион ко храму, стал я помогать ему по службе, пел с ним на клиросе, кадило зажигал, всё делал, что понадобится; сторожу Власию помогал порядок в церкви держать и любил всё это, особенно зимой. Церковь-то деревянная, топили её хорошо, тепло было в ней.

Всенощная служба больше утренней приятна мне была; к ночи, трудом очищенные, люди отрешаются от забот своих, стоят тихо, благолепно, и теплятся души, как свечи восковые, малыми огоньками; видно тогда, что хоть лица у людей разные, а горе — одно.

Ларион любил службу во храме: закроет глаза, голову рыжую кверху закинет, кадык выпятит и — зальётся, запоёт. До того доходил, что и лишнее певал, — уж попу ему из алтаря знаки делает — куда, дескать, тебя занесло? И читал тоже прекрасно, нараспев, звонко, с ласкою в голосе, с трепетом и радостью. Поп не любил его, он попа — тоже и не раз, бывало, говорил мне:

— Какой это священник! Он не поп, а барабан, по которому нужда и привычка палками бьют. Был бы я попом, я бы так служил, что не токмо люди святые иконы плакали бы!

И это верно — нехорош был поп на своём месте: лицо курносое, чёрное, словно порохом опалено, рот широкий, беззубый, борода трёпаная, волосом жидок, со лба — лысина, руки длинные. Голос имел хриплый и задыхался, будто не по силе ношу нёс. Жаден был и всегда сердит, потому — многосемейный, а село бедное, земли у крестьян плохие, промыслов нет никаких.

Летом, когда и комар богат, мы с Ларионом днюем и ночуем в лесу, за охотой на птиц, или на реке, рыбу ловя. Случалось — вдруг треба какая-нибудь, а дьячка нет, и где найти его — неведомо. Всех мальчишек из села разгонят искать его; бегают они, как зайчата, и кричат:

— Дьячок! Ларивон! Аида домой!

Едва найдут... Поп ругается, жалобой грозит, а мужики — смеются.

Был у него один дружок, Савёлка Мигун, ворище известный и пьяница заливной, не раз бит бывал за воровство и даже в остроге сидел, но, по всему прочему, — редкостный человек! Песни он пел и сказки говорил так, что невозможно вспомнить без удивления.

Множество раз я его слышал, и теперь вот он предомною жив стоит: сухонький, юркий, бородёнка в три волоса, весь оборванный, рожа маленькая, клином, а лоб большой, и под ним воровские развесёлые глаза часто мигают, как две тёмные звезды.

Бывало, притащит он бутылку водки, а то Лариона заставит купить, сядут они друг против друга за стол, и говорит Савёлка:

— А ну-ко, дьяче, валяй «Покаяние»!

Выпьют... Ларион поконфузится немножко да и запоёт, а Савёлка сидит, как пришитый, мигает, бородёнкой трясёт, слёзы на глазах у него, лоб рукой поглаживает и улыбается, сгоняя пальцами слезинки со щёк.

Потом подскочит, как мяч, кричит:

— Очень превосходно, Ларя! Ну, и завидую я господу богу — хорошо песни сложены ему! Человек-то, Ларя, а? Каков есть человек, сколь он добр и богат душой, а? Ему ли уж не трудно перед богом ходить! А он вот как — на! Ты мне, господи, — ничего, а я тебе — всю душу!

— Не кошуны! — скажет Ларион.

— Я? — кричит Савёлка. — Нисколько! Даже и в помыслах нет! Где же я кощуню? Никак! Радуюсь за бога — и больше ничего! Ну, а теперь я тебе спою!

Встанет, руку вытянет и начнёт колдовать. Пел он тихо, таинственно пел, глаза широко раскроет, зажгёт их каким-то особенным огнём, и на вытянутой руке его сухие пальцы шевелятся всегда, словно ищут чего-то в пустоте. Ларион к стене отвалится, опираясь руками о скамью, откроет рот и смотрит удивлённый; я на печи лежу, а сердце у меня замирает печально-сладостно. Потемнеет весь Савёлка, только мышинные зубы его блестят, да сухой язык шевелится, как у змеи, и пот на лбу выступит крупными каплями. Голосу у него — конца нет, так и льётся, так и светится, подобно ручью в поле. Кончит, покачивается, оботрёт лицо ладонью, выпьют оба и долго молчат. Потом Савёлка просит:

— А ну-ко, Ларя, «Волною морскою»!

И так они весь вечер друг друга утешают, пока не спянутся оба; тогда Мигун начинает похабные сказки рассказывать про попов, помещиков, царей; дьячок хохочет и я тоже, а Савёлка без устали сказку за сказкой вяжет и так смешно, что впору задохнуться со смеху.

А ещё лучше он по праздникам у кабака певал: встанет пред народом, зажмурится крепко, так что на висках морщины лягут, да и заведёт; смотришь на него — и словно песня в грудь ему из самой земли исходит: и слова ему земля подсказывает, и силу голосу дает. Стоят и сидят вокруг мужики; кто голову опустил и со-

ломинку грызёт, иной смотрит в рот Савёлке и весь светится, а бабы даже плачут, слушая.

Кончит он — просят:

— Валяй, брат, ещё! Выпить поднесут.

Был про Мигуна такой рассказ: украл чего-то в селе, поймали его мужики да и говорят:

— Ну, — кончено твоё дело! Теперь мы удавим тебя, невтерпёж нам ты!

А он будто отвечает:

— Бросьте, мужики, не дело затеяли! Краденое вы у меня отняли, стало быть — ничего вами не потеряно, — имение всегда новое можно нажать, а такого человека, как я, — где вам взять? Кто вас утешит, как не будет меня?

— Ладно, — говорят, — толкуй!

Повели его в лес вешать, а он дорогой и запел. Сначала шли торопились, потом перестали спешить, а пришли к лесу — и готова веревка, но ждут, когда он кончит последнюю песню свою, а потом говорят друг другу:

— Пускай ещё одну споёт, это ему вместо отходной будет!

Спел он и ещё, а тут солнышко взошло, оглянулись люди — ясный день с востока идёт, Мигун среди них улыбается, ожидает смерть без страха. Сконфузились мужики.

— Ну его, ребята, ко всем псам! — говорят. — Удавишь — греха да склоки разной не оберёшься.